

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л84

Оформление серии *А. Саукова*

Лукаш, Иван Созонтович.
Л84 **Бедная любовь Мусоргского / Иван Лукаш.** — Москва : Издательство «Э», 2016. — 256 с.

ISBN 978-5-699-87983-0

Иван Лукаш (1892—1940) — известный русский писатель-романист, блестящий стилист. Написал более десяти исторических романов и повестей, из которых особое признание завоевала «Бедная любовь Мусоргского» — необычное по жанру произведение, объединяющее исторический документ, мистику и лирическую биографию. Безусловно, одна из самых пронзительных любовных историй в мировой литературе.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-87983-0 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2014

Пожелтевшая записка

Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербургского художника с приколотой газетной заметкой об одной из «арфянок», уличных певиц, бродивших в те времена по питерским трактирам, — вот что в основе этой книги.

Это не описание жизни Мусоргского, а роман о нем, — предание, легенда, — но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни.

Иван Лукаш

Госпиталь

Молодой офицер в расстегнутом темном мундире, с полотенцем, перекинутым на руку, тихо шел коридором военного госпиталя.

Ночное молчание, полное тупого напряжения, горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делали походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой.

Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием.

Никаких случайностей — «происшествий» на казенном языке — ночное дежурство не обещало, и офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване.

Он вошел в дежурную без шума, прикрыл за собою высокие двери. В комнате горел газовый рожок. Фуражка и сабля висели на спинке

промятого кресла красного дерева, там же была брошена гвардейская светлая шинель.

Другой газовый рожок горел у смутного, поцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы, влажные от мытья, молодым, сильным движением он откидывал вьющиеся пряди со лба.

При туманном свете рожка ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости.

Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным и удивительно привлекательным.

Это было приятное и свежее русское лицо, без резких черт, слегка туманное, такое лицо, где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательно мягкой простотой. Хорош был широкий, светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой.

Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством, и его серые глаза внимательно и строго так следили из зеркальной мути, как бы намечался перед ним в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском мундире, с круглыми эполетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным.

Вдруг кто-то покашлял за спиной.

Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был застигнут за таким сокровенным, чего не должен подсматривать никто.

На подоконнике полукруглого казенного окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел в дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинув ногу на ногу, он покачивал ногой, обтянутой узкой штаниной на штрипке.

— Извините, что я покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, — сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. — Но не правда ли, вы насвистывали Шуберта?

— Шуберта, — подтвердил офицер с небрежной досадой.

— Опус 77, не правда ли, номер пятый?

— Пятый.

— Я очень люблю эту фразу у Шуберта. Только вы там, в переходике, извините, подвираете.

— Я не подвираю, а нарочно. Ищу другого перехода.

— Как так?

— А так. Ведь Шуберт что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь в подворотне, венскую гармонику, и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки.

— Очень хорошо-с, симфония в две строки...

При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками.

Это был сухонький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то по-кошачьи, потирал. На нем был опрятный сюртук, его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете, с крошечными пуговками. «Немчик, поди», — подумал офицер.

— Разрешите представиться, — вежливо сказал медик. — Дежурный лекарь Бородин, Александр Порфирьевич Бородин.

— А я думал, вы из немцев, — усмехнулся офицер, подавая ему руку. — Я тоже дежурный по госпиталю, гвардии Преображенского Мусоргский Модест, по батюшке Петрович.

— Модест, редкое имя... По-французски — скромный.

Маленькая рука медика заледенила на мгновение большую теплую руку Мусоргского.

Неожиданный ночной компаньон не понравился ему. Мусоргский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. Военный лекарь, с его опрятным холодком, показался сухарем и педантом.

— Понимаете, — сказал Мусоргский небрежно, — я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода.

— Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад?

— Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печаль необыкновенная, вздох этот для всех людей одинаков, что русские, что немцы...

— Очень хорошо. Я согласен, вы любите музыку.

— Люблю. И мне обидно, когда о ней толкуют люди...

Он хотел сказать с сердцем «люди, ни черта в ней не смыслящие», но спохватился:

— ...без достаточных оснований.

Маленький медик тонко улыбнулся:

— Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его «Своеобразные танцы», не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки... И потом, видите ли, я сам...

Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:

— Я тоже пишу музыку.

Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:

— Вот случай, какое совпадение... Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик...

— Пожалуйста, пожалуйста, — лекарь весело закивал головой.

— Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале, и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке, гонимо, смешно... Кому у нас надобна музыка... У нас музыка — только барская блажь... Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу...

После нечаянного взаимного признания молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке, и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, — как два заговорщика, — понимающие все с полуслова.

Не особенно хорошо слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его «Немецких танцах», какие недавно оба читали. Потом о «Рождественских рассказах» Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: «Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель»; они поспорили о Бетховене, не по-

няли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.

Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым сияла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умалишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусоргский, что все их слова были невняты и они сами не понимали ясно, что именно говорят. В путаной, горячей речи они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще брезжило в них, какое еще будет когда-нибудь или не будет вовсе.

Лицо Мусоргского горело. Бородин иногда смеялся нервным смешком с прозрачным прохладным звуком. Мусоргский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком.

— Посмотрите, какая ночь, — в мгновение молчания сказал Бородин. — Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по-моему, такие ночи... Какое морозное величие, бесконечное холодное сияние, и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений...

Они умолкли.

За госпитальным двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег. Как

будто в звучащей немоте застыла колоннада, фронтон, а дальше, над белым океаном крыш, где бродил дым стужи, страшно и тайно сияло зеленоватое ледяное небо.

— Замечательно, — сказал Мусоргский. — Вот ночь. Вся звучит. О чем же, о чем непонятный язык этой обмерзшей немоты, величия?

— Не знаю, но тоже слышу, — прошептал Бородин. — И, кажется, вот-вот догадаюсь, о чем... Никогда и никому не догадаться... Это и есть музыка.

— Музыка? Я, доктор, во всем, всегда слышу музыку, и мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное... И в этой ночи, и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате умирающий солдат стонет, — все это, весь мир, люди, все живое и мертвое — одна музыка... И если бы узнать ее тайное значение...

— Зачем знать, все прекрасно и так... Однако какой у вас приподнятый поэтический тон.

Маленький медик позвенел серебряной цепочкой часов, щелкнул крышкой:

— Вот видите, вашей тирадой о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Мне пора на ночной обход.

— Я с вами...

Мусоргский с пылающим лицом желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам.

— Извольте, пойдем, сначала к горячечным, потом к венерикам, — ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука.

Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены поверху были выбелены, а понизу закрашены серой краской. Стекла окон внизу тоже были забелены.

В палатах, где на железных койках под темными одеялами лежали люди, было только два угрюмых цвета — темно-серый и белесоватый, точно они были цветами самой смерти.

В той палате, куда вошел с медиком Мусоргский, в углу была растоплена громадная кафельная печь, на железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. В палате, в духоте, пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа над столом фонарь, тоже разогретый, душный.

Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщовыми простынями. Они показались Мусоргскому покойниками: они спали. У других были развязаны на груди